

ШТАБС-КАПИТАН ЩЕТИНКИН

Повесть

1

Долбил жалом пешни зеленый лед, углубляясь в студеную толщу — наконец в проран ударила, ручьем забурлила живая вода, крошево всплыло, заходило в ледяной яме. Наполовину заполнило, успокоилось. Стальное острие отсекало куски льда, ширило дыру, освобождая шест. Прорубь нужна большая, чтоб «морду» протащить. Сбросил рукавицы, заломил против течения упруго бьющийся в руках шест, высвободил ловушку из «воротец», рывками потянул. Моржом вынырнула из кипящей на морозе воды плетеная «морда». Ототкнул «мочало», вытряхнул на снег заблудившихся, вьюнами вьющихся налимов — влажно забились, как на сковородке, и тут же побелели. Пару раз трепыхнулись — и оледенели. Жмет мороз! Собрал застывшую рыбу, побросал в зев крапивного мешка, подхватил пешню, подался в недалекую деревню. А сердце так и встрепенется: дома дочурки, жена! Тепло бревенчатой избы, сытная крестьянская пища — что еще надо человеку?

Длинные туманные языки лижут сугробы, нет-нет да и треснет, прогремит винтовочным выстрелом лед на Чулыме. Уныло стонет в бору сухостой. И стук копыт, и птичий посвист — нагоняет лошадка.

— Садись!

— Здорово были! — упал в сани на ворох душистого сена.

Павлов в собачьей дохе и мохнашках (рукавицы мехом наружу), рука горячая, жмет крепко, будто с праздником поздравил:

— С рыбалки?

— С нее! — ответил радостным криком, не боясь, что попросит налима на уху — Бог дал, тут жадничать нельзя.

Но молчит Павлов, только смотрит пристально, будто год не видались. И даже подмигнул, головой вздернул:

— Прячь ордена да выкидывай золотые погоны! — огорошил. — Некому боле служить, царя скинули!

И будто молотком прилетело по затылку. То есть давно уж говорили, но все же неожиданно. Будто землю из-под ног выдернули. Как же без царя? Вокруг чего жизни вертеться?

— Не зря у бабки Алены калина в мороз зацвела! — ликовал Павлов. — Вся в цвету, говорят, стояла!

— И кто же вместо?..

— А? Временные Советы! Советы крестьянских депутатов! Свобода теперь: чё хочу, то и ворочу! — схватил Щетинкина за плечи и потряс. — Сами себе хозяева!.. — и заорал диким голосом на весь Чулым: — «Вы жертвою пали в борьбе роковой!..» — скорбная песня у него получалась веселой.

Скрипели перемерзшие гужи, бодро стучали копыта, птичьим голосом пели полозья, редькой подносило от лошади. Петр не мог прийти в себя, будто кто перелистнул книгу жизни и началась какая-то новая, еще никому не известная, глава.

— Верно ли?

— Верно! Я с Ачинска. Там все с красными тряпками, с гармошкой — веселье.

— А кто же главный?

— А никого нету. Комитет. Война кончилась! — не переставал удивлять сосед. — Замирились с германцем. Жди, скоро все воротятся!

Мимо плыли заваленные снегом торосы, бежали, бежали назад в Ачинск березы и сосны. Как много сразу вставало вопросов: что с армией, что со страной, какому богу молиться? Только Павлова ничего не волнует, ликует: скоро сын вернется с фронта!

— А кто говорил-то?

— Все!

Петр понял, что надо ехать в Ачинск. Отпуск закончен и, наверное, придется браться за какое-то дело. Это только в сказке: мирная привольная жизнь, и в рот тебе сыплются галушки. Новая жизнь притащит новое начальство, а уж оно заставит всех служить.

— Бывай! — махнул вознице, скользнул боком и встал на дорогу, будто гвоздь вколотили.

Стоял, обирал лед с моржовых усов. Опять жизнь поворачивалась каким-то новым боком. Сколько их видел Щетинкин! Плотничал, столярничал, и в армии до штабс-капитана дослужился, получил весь Георгиевский бант, «Клюкву» за храбрость (Анну), Станислава двух степеней и медали от французов за боевые подвиги.

Пахнуло печным дымом. Ребятишки визжат, катаются с горки на санках. Из-под яра — баба с ведрами на коромысле. Ничего не знают о перемене в стране. Всё как всегда... А казалось, что-то должно бы измениться. Без царя остались. Но и солнышко: то выглянет из-за облака, то скроется, и мороз трещит, как вчера и на той неделе.

Свернул в переулочек к дому тестя, ступил на двор — так и кинулся лохматым снарядам Черкес. Никак не привыкнет.

— Ну-ну, напугал, напугал.

Заворчал, вильнул хвостом, полез к себе в конуру. Броском поставил Петр пешню к забору. И мимо «красного» крыльца, за угол, на свою половину. Перебрались от тестя в пустую половину, за стенку, теперь приходится две печки топить.

Навстречу — копешка! Сама собою катится, сверху ветер ее треплет, понизу стелется по заледеневшему снегу двора. Ухватил утонувшие в сене руки жены, уткнулся носом в клевер — она дергает, пытается освободиться и, слышно, хохочет-закатывается. Оскользнулась на льду — оба упали. Смотрит кобель и не может понять, что это с молодыми хозяевами? Уж не дерутся ли? Может, лаять пора? Но только зарычал негромко и опять прилег на подстилку. А молодые сидят, как на майском лугу, в клевере, светятся взглядом друг на дружку.

— Здравствуй, Васса!

— Да уж виделись! — и оба скалятся в неудержимой улыбке. — С уловом?

— Маленько есть!

И уже бросают друг в друга горсточку сена, да и кобель догадался, что хозяева шутят, слезно заскулил, не умея по-другому выразить веселье, и юлил, вертелся на пороге своего собачьего жилья.

— Васса, а ты не слыхала? Царя демобилизовали, республика у нас.

И Васса закатилась таким хохотом, что корова в стойке тяжело переступила и замычала звериным ревом. А Васса все не могла успокоиться, и ножкой-то дрыгнет и рукой отмахнется — так нелепа ей казалась мысль об установлении республики в России... Наконец поднялись. Отдал мешок, глухо гремящий уловом, сам понес охапку сена в стойку. Отворил — дохнуло парным запахом навоза, прелого сена и молока. Октябрина тарашит глаза, крутит рогами — и эта никак не привыкнет к новому хозяину.

Надюшка-то и та поначалу дичилась. Тут целая история... Война — каждый день народ бредет и в ту, и в другую сторону, на ночевку просится. И какой-то раненый солдатик Надечке и говорит: «А ведь я твой папка!» И все вокруг поддакивают — на смех! Стих такой напал. А она, девчонка, и обнимет, и прижмется-то к этому служилому. А на другой день «папка» — своей дорогой, дальше. И, вроде, ничего Надя, не обиделась. А как приехал настоящий отец — не идет к нему ни в какую. И папкой-то назвать не может. Или не хочет уж, шут ее знает.

Бросил охапку — поймала корова на рога, растрепала и, широко прихватывая клевер белым языком, принялась жрать, нижняя челюсть туда-сюда, туда-сюда. Конь загоготал за перегородкой. Тут же, в стойке. И овечек пяток. Надо и им подбросить сенца, вон как беспокоятся, топчут по деревянному полу.

Хотел погладить коня — шархнулся в угол. Петр давно это заметил: пугал коней. Так и вздрогнут всей кожей и присядут. В училище говорили, что это даже хорошо: много звериного начала. Мол, хороший рубака, что б ни говорили — хищник. Волк! И опять потянуло изнутри длинной судорогой — сам того не замечая, уже тосковал по атмосфере армии, заведенному порядку, по своему батальону.

2

От Казанского собора волнами наплывал благовест. Снял папаху, перекрестился, широко, твердо.

— Вот молодец, — прокудахтала старушка, — по-нашему!

Дома двухэтажные, каменные, часто с бревенчатым верхом. Наличники, карнизы — в деревянных кружевах. Прежде чем явиться по начальству, решил навеститься к знакомой бойца своего батальона. Баба нужная. Политическая. Укажет, по какому ветру нос держать. Теперь их время, их воля. Генерала Кочергина, как шавку какую, взяли и выкинули — тут и не очень-то веришь, да перекрестишься и попросишь Богородицу, чтобы сохранила.

А воздух отмяк, весной пахнет, и следы от полозьев на дороге блестят, как стеклянные! Скоро, скоро закапает с крыш. Растегнул верхнюю пуговицу, вздохнул полной грудью и опять осмотрелся в поисках двухэтажного дома Пузановой. Евдокия Лаврентьевна, кажется. Мимо, пыхтя и разбрасывая снег, пролетел запряженный рысак, в кошевке — мужик. С красным бантом, как у песика. Петр испытывал некоторую робость.

Теперь, говорят, погоны не в моде, а он вызвездился, нацепил свои золотые с просветом. Казалось, так-то больше авторитету, больше весомости.

Из подворотни собачонка тявкает, зло, нахраписто. Так и загрызла бы золотопогонника! По всему Ачинску — революционеры. Посвистал, чтоб успокоилась, уняла свою демократическую ненависть — куда там, рвется, захлебнулась даже в лютой злобе. «Не любят, кровью от меня на них подносит». По настоящей, родовой фамилии он был Еремин, а Щетинкин — от щетинистого деда. От какого дедушки досталась фамилия революционерке Пузановой — спросить бы. Снег под сапогами хрустит глухо, сыто, не так, как в мороз.

— Ты чего тут отираешься? — баба с метлой. — Кого выглядываешь?

— Ты вот что... — привычным жестом подкрутил ус. — Скажи-ка, как мне найти товарища Пузанову?

— А на что она тебе?

— Ну, это уж не твоего ума дело, где Евдокия Лаврентьевна?

— Дуська? А ты кто будешь? — оробела баба. — Не с арестом ли опять?

— Не с арестом, где она?

— Дак, где... В общем собрании. В Управе, наверно. Ачинском правит. Знаешь, где Управа?

Развернулся, пошел к административному центру — не получилось подъехать к начальству с заднего крыльца, придется стоять в очереди. Просителем. А там — как оно взглянет на защитника старого порядка, на «цепного пса царизма»? Это ведь если под горячую руку попадешь, и костей не соберешь. Шаг тяжелеет, замедляется. Стоит ли самому в петлю лезть? И уклониться нельзя, приказано в три дня всем офицерам запаса явиться в комиссариат, будь он неладен.

Все-таки городок маленький, не успел дойти до администрации — знакомый.

— Волков, вы?

— Мы, господин штабс-капитан!

Остановились, не зная, о чем говорить. Все-таки только знакомы, не друзья.

— Вот как история-то поворачивается! — и понятно, что Волкову этот поворот не по шерсти.

— Как они? Нашего брата к стенке не...

Знакомый пожал плечами, мол, Бог знает, что взбредет в их революционную башку. Петр переступил с ноги на ногу и уж хотел было откланяться — Волков, озорно кивнул в сторону нарядного, как пряничный домик, особняка:

— Зайдемте, ваше благородие! Вы ведь у меня ни разу не были, — и ловким щипком подхватив под руку, потащил к широким воротам.

За глухим забором простужено залаяла собака. Зазвенело кольцо по струне. Двор чистенький, недавно выметен. Конюшня, дровяник, баня в глубине двора — все чистенькое, аккуратное, хоть на картинку рисуй. Только собака ходит на задних лапах, трясет «штанишками», хрипит.

— Она не злая, — успокоил Волков.

— Да я вижу.

Дом узнается не по внешнему виду — по запаху. Только ступили за порог — дохнуло легким облаком свежего, вкусного, чистого... Тепло. На полу ковровые дорожки. В прихожей гарнитур, венецианское зеркальце. Вход в другие комнаты занавешен. Миротворно потрескивают в печке дрова, залиvisto, отголоском иного мира, звенит канарейка.

— Как в лесу весной!

Волков вздохнул, развел руками. А ведь их и ждали! Из-за портьеры, с желанием очень перепугать — сгорбившись, боком вылетел котенок, не справился с инерцией, завалился — вскочил и, часто-часто перебирая пуховыми лапками, так и побежал по портьере вверх, уставился горящими глазами.

Разделись. Щетинкин при Георгиях. Заглянул в зеркало, подмигнул молодецкому своему отражению, расчесал волосы пальцами.

Явилась беззвучная горничная с кружевной заколкой в волосах.

— Елена Максимовна дома?

— Да-с.

— Я с другом. Сделай, что нужно.

— Празднично?

— Да уж, не как в кабаке!

И мужчины громко рассмеялись от прилива бойкого братского чувства, через темную комнатку с диваном и кальяном на полу прошли в столовую. Светлую, с дубовой мебелью и зеркалами. Во всем достаток! Волков женился на дочке купца Максимова, да и сам в своем Красноярске не бедствовал. И что ему бояться революции? Не князь, не граф, а для купцов теперь полная свобода! Кажется, так. Ах, вот откуда аромат — яблоки! На столе, в вазе величиной с хороший таз, китайские яблоки, так и лучатся кровавым отсветом. И Петр опять засмеялся от странного чувства умиления — не зависти. Горничная бесшумно и ловко накрывала на стол.

— Зря, — возразил Щетинкин, — я ведь на минутку, мне надо...